

ПАМЯТЬ—
ЭТО
ТЫ

la *Albert Bertran Bas*
memoria
eres tú

Альберт Бертран Бас

ПАМЯТЬ —

ЭТО

ТЫ

роман

*Перевод с испанского
Анны Уржумцевой*



phantom press

Москва

Оглавление

1.	Счастлиное Рождество	9
2.	Там, где умирает ветер	27
3.	Пуля в Неруду	42
4.	Возвращение	57
5.	Мир, сострадание и прощение	78
6.	Первые два метра	93
7.	Эммет, ростовщик	111
8.	Новый друг	125
9.	Дочь гор	146
10.	Рассказ из шести слов	168
11.	Хранитель медальона	184
12.	“Уругвай”	201
13.	Конец одной войны.	213
14.	Невидимки	236
15.	Тайная миссия.	250
16.	Встреча	266
17.	Нарушенные обещания	284
18.	Мечты завоевательницы	310
19.	Мечты завоевателя	325
20.	Двое и ростовщик.	346
21.	“Мельница”.	356
22.	Последняя проверка	387
23.	Последняя монета.	399
24.	Вопрос доверия	421
25.	Там, где умирает все	435
26.	В погоне за невидимкой.	446
27.	Короткое прощание	469
	<i>Эпilog</i>	
28.	Имя мое — Гомер	479

Имя мое — Гомер, и я потерял семью во время войны. В пятнадцать я пешком пересек Пиренеи, отправляясь в изгнание. Я вырос сиротой на улицах Барселоны и касался смерти в темницах “Уругвая”. Я пил с Хемингуэем, приветствовал Гитлера и занимался любовью в автомобиле Франко. Мне стреляли в спину, и мне стреляли в сердце. Я заставил притихнуть кабаре “Мельница”, меня целовала Прекрасная Дорита. Я сжимал нож Сидящего Быка. Я был там, где умирает ветер, и спал среди утерянных сокровищ. Однажды меня расстреляли. Я знал гениев и вдохновлял некоторых из них. Я пил допьяна, смеялся до слез, мечтал, воровал и убивал. И я влюблялся. Трижды. В одну и ту же женщину. Вот моя история. Вот моя одиссея.

Счастлиное Рождество

Барселона, 24 декабря 1937 года

Тогда Рождество было не таким, как сейчас. Вокруг шла война, и начинались перебои с продуктами. Особенно в небогатых семьях. Мой отец был третьим сыном в семье, мужчины которой из поколения в поколение обрабатывали железо на небольшом заводе на окраине Манресы. Его отец, мой дед, был известным мастером, и люди, знакомые с ним поближе, говорили, что он управляется с железом, как пекарь с тестом. Он придавал металлу тысячу форм и владел им совершенно, творя красоту из этого холодного и неподатливого материала. Он был настоящим художником. Еще сохранились кое-где в Барселоне и Манрезе скамейки, ворота и фонари с его инициалами. Самое известное его произведение, которое мой отец особенно любил, — великолепные ворота перед величественным театром “Курсааль” в Манрезе. На всех его творениях, если хорошо присмотреться, всегда можно найти в уголке две буквы: А. Б. — Антон Барет.

Мой отец никогда не ладил с семьей. Единственное, что у них с дедом было общего, — это имя, которое и я тоже был бы не прочь унаследовать. Без сомнения, “Антон” звучало бы лучше, чем “Гомер”. Но отец отличался от родни, клана

умельцев-кузнецов, и норовил подчеркнуть это всеми способами, даже при выборе имени для меня. Отцу, например, никогда не нравилось “пачкать руки” — ни в каком смысле, говорила мать. Прежде всего, он был человеком образованным и честным. Отец преподавал историю и литературу в Университете Барселоны. Его всегда окружали книги, хотя нельзя сказать, что он был далек от реальности. Книги были его страстью, но не единственной; другой его страстью была семья.

После двадцати лет брака он был все еще без памяти влюблен в мою мать и всегда, когда это требовалось, находил время для меня. Поскольку я был единственным ребенком, такое случалось довольно часто. Он любил книги и музыку, и, полагаю, я унаследовал эту любовь от него. Он подтолкнул меня к игре на гитаре, и я попался в ловушку. Выяснилось, что для этого занятия необходимы постоянная практика и время, которым я не готов был жертвовать. По крайней мере, не в часы досуга, когда я предпочитал сбегать вниз на четыре этажа, отделявших меня от площади Адриано, рядом с улицей Мунтанé, и погонять мяч с соседскими мальчишками.

Полагаю, именно по этой причине меня записали на уроки игры на гитаре дважды в неделю, и по этой же причине я невзлюбил свой инструмент. Кроме того, у меня плохо получалось. Гитара требовала определенного терпения и чуткости, которыми я в ту пору не обладал.

А вот читать я любил страстно. Все, что мне требовалось для чтения, — небольшой светильник у прикроватной тумбочки. Отец всегда читал, сидя в своем любимом зеленом бархатном кресле, меж огромных подлокотников которого он помещался идеально, как деталь часового механизма. Иногда я брал пуфик для ног и устраивался читать подле него. Шуршание перелистываемых страниц было привычным звуком в нашей гостиной. Книги стали моим убе-

жищем, способом ускользнуть от всех, особенно в те дни, когда война уже выплескивалась на улицы и стучалась в двери.

Война... Сначала люди уверяли, что она продлится недели две, не больше, но даже по прошествии полутора лет конца ей не было видно. Мать называла горе-прорицателей “сантехниками”: “Эти тоже говорят, что починят за две недели, а ты потом несколько месяцев торчишь по шею в воде”.

Наша жизнь резко изменилась. Но мне не было страшно. В свои пятнадцать я еще не встречался с жизнью лицом к лицу и был слишком юн — или слишком глуп, — чтобы понимать, что такое страдания и смерть. Мои родители старались оградить меня от действительности, и главную войну я вел со скукой. На улицах, где настроения радикализировались, было опасно, поэтому я в основном сидел дома. К счастью, отец, видя, как не хватает мне приятелей, познанил меня с новым другом — Жюлем Верном.

Я проглотил все его книги, от “Путешествия к центру Земли” до “Пяти недель на воздушном шаре”, днем и ночью грезил о приключениях и жаждал познавать мир. Но более всего я мечтал познать самого себя. Я знал, что я не смельчак. Никогда им не был. Также я не был ни самым крутым парнем в классе, ни самым сильным, ни самым ловким, ни самым красивым. В свои пятнадцать я был погружен в вечные сомнения, не зная, кто я такой. Еще более меня тревожила мысль, что никто из моих друзей — я знал это — не задается подобными вопросами. Таков был я, таково было мое место в классификации. Не красавец, не умник, не силач... Я был чудак.

Я так и не понял — особенности характера привели меня к книгам или книги сформировали характер. В любом случае меня это не сильно заботило. Друзья у меня были, хотя и немного. И были книги — хотя и немного.

В то Рождество я был уверен, что смогу наконец прочитать единственную книгу Жюль Верна, которой не доставало на моей книжной полке, — “Двадцать тысяч лье под водой”. Почему-то этот роман не давался мне в руки, словно единорог. Я знал, что это одна из любимых книг отца, о чем он не уставал напоминать. Отчего же он не подарил мне ее раньше? Невозможно узнать. Таков был отец. Он просто поступал так или иначе, а я не задумывался о причинах. В конце концов, я знал, что ради меня родители способны на невозможное. Они постоянно это доказывали. По правде говоря, пока не случилось то, что случилось, я ни в чем не знал недостатка. Возможно, я получал даже больше, чем многие мои сверстники. Но, как я уже сказал, это было до тех пор, пока не случилось то, что случилось.

В тот вечер мать постаралась украсить стол, на котором ощущался недостаток всего, начиная с еды. Мы знали, как ей от этого тяжело, ведь она так любила готовить: часами жарила и парила вкуснейшие блюда, покачиваясь в ритме арий Пуччини, которые отец ставил на проигрывателе. Я до сих пор помню запах, которым пропитывался весь дом, и ее волшебный голос, поющий *O mio babbino caro**. Сеньора Пакита с третьего этажа и сеньора Исидора с четвертого всегда открывали окна, выходящие во внутренний двор, чтобы ее послушать. Теперь, во времена дефицита, песни умолкли, а окна закрылись.

Уже несколько дней мы сидели без отопления и света, но у нас был камин, и огонь в нем горел круглые сутки. Печальный цветок в углу гостиной заменял рождественскую елку, а настоящая уже превратилась в пепел под углями. У нас закончились дрова, и мы начали топить мебелью. В огне исчезало все, кроме зимы. Абсолютно все.

* “Ах, папенька” (ит.) — ария из оперы “Джанни Скикки” Джакомо Пуччини. — Здесь и далее примеч. перев.

Мы сидели за столом и, как велит традиция, в молчании смотрели друг на друга столько времени, сколько отец считал необходимым. Он всегда так делал. Он любил слова, но повторял, что лишь молчание по-настоящему невыносимо для лжи. Затем наступал черед вопросов. Можно было задать любой вопрос — при условии, что он интересный. Никаких “Как думаешь, пойдет завтра дождь или нет?”. Если вопрос был негодный, ты терял право голоса до конца ужина. В тот день, посидев в молчании, я задал вопрос, который давно уже вертелся у меня в голове:

— Папа... Кто из них хорошие?

По быстрому взгляду, которым обменялись родители, я понял, что они такого не ожидали, но у моего отца всегда и на все имелся ответ.

— На каждой стороне есть и хорошие люди, и плохие. Все не так просто.

— Но как мне тогда выбрать сторону?

— А не нужно выбирать.

— Почему?

— Потому что ты еще маленький, — вмешалась мать, желая завершить этот разговор.

— Но я хочу знать.

— Хорошо... Когда ты играл в свои игрушки, — начал отец, — за кого ты был, за индейцев или за ковбоев?

— За ковбоев.

— Всегда?

— Да.

— Почему?

— Потому что у них пистолеты. Индейцы не могут их победить.

— То есть ты был за ковбоев, потому что знал, что они победят.

— Да... — отвечал я уже не так уверенно, как прежде.

— Ну вот большинство так и выбирает.

— Но как тогда узнать, кто победит?

— Этого нельзя узнать.

— Мы с этого и начали! — воскликнул я раздосадованно.

Отец забавлялся, видя, как я злюсь, и не торопился сдаваться. Он никогда не опускал руки, если дело касалось меня.

— Ты не спрашивал себя, что будет, если выбрать индейцев? Может, тогда получится сразиться на равных?

— У ковбоев пистолеты, — настаивал я.

— А у индейцев будешь ты, — улыбнулся отец.

Несколько секунд я размышлял над этим, а отец постукивал по столу костяшками пальцев. Мог ли я изменить расстановку сил? Наверняка, но...

— Но зачем мне рисковать?

— Вот истинная суть вопроса: зачем рисковать?

— Это мой вопрос!

— А если кто-то наставит пистолет на нашу маму?

— Антон, ради бога! — укоризненно воскликнула мать, вставая и направляясь на кухню.

Отец подмигнул мне и подождал, пока она уйдет.

— А у меня тоже есть пистолет?

— Нет. Ты стоишь с голыми руками. Ты бы рискнул, чтобы спасти ее?

— Да, — ответил я не задумываясь.

— Почему? Твои шансы на победу ничтожны.

— Потому... потому что это мама.

Отец улыбнулся. Я готов был поклясться, что в его взгляде блеснула гордость.

— В таком случае ты выбираешь уже вне зависимости от того, каковы твои шансы на победу или поражение. Зачем ты тогда сражаешься?

Он всегда так поступал со мной. Никогда не давал ответа, предоставляя мне найти его самостоятельно.

— Потому... потому что я защищаю то, что люблю, — сказал я убежденно.

Я понял, что ответ верный, потому что отец удовлетворенно кивнул.

Мать принесла еду, но отец хотел еще подытожить:

— Ты должен знать, что в жизни не все делится на черное и белое, хороших и плохих, индейцев и ковбоев. Мир полон оттенков. И умение видеть и понимать их возвышает нас, обогащает.

— И помогает выбирать?

— Да. Хотя лучше было бы, если бы нам не приходилось выбирать.

Жидкий бульон стал нашей ежедневной пищей, но по случаю Рождества на сей раз в нем было чуть меньше воды и чуть больше всего остального. Настоящая роскошь. Еще годом ранее я, скорее всего, объявил бы голодовку в знак протеста против такой еды. Но теперь все, что можно было отправить в рот, казалось даром богов. Кроме того, мама варила великолепный бульон. И даже в жидком варианте сохранялся тот особый вкус, который она умела придать ему.

— Веточка розмарина для моего сына.

И так рождалось волшебство. Ее волшебство. Я расправился со своей порцией в мгновение ока, и отец отдал мне то, что оставалось в его тарелке. Похоже, он перекусил на работе плотнее обычного и не хотел есть. Мать сделала ему замечание, но во взгляде ее была только нежность. Я доел отцовскую порцию так же быстро, как и свою, и встал, чтобы отнести тарелки на кухню.

Когда я вернулся, на столе напротив моего места лежал сверток, завернутый в газету. Я сел и взволнованно ощупал его.

— Книга!

Я разорвал обертку, ключья газеты полетели на мои старые ботинки. Нетерпеливый взгляд упал на первое слово: “Двадцать...” Сорвав наконец всю упаковку, я оторопел:

— Что это?

— Моя первая книга, — с гордостью сказал отец.

— Заметно... — ответил я, не в силах скрыть досаду.

Книга была обтрепана по краям, страницы высохли и пожелтели.

— Я знаю, что это не “Двадцать тысяч лье под водой”, но...

— Стихи? Seriously? — с досадой перебил я.

Я слишком долго ждал своего последнего Жюль Верна и не сумел скрыть разочарование.

— Этому миру нужно больше поэзии, Гомер...

— Но мне нужен Жюль Верн, а не... Пабло Неруда. — Я небрежно уронил книгу на стол.

— “Двадцать стихотворений о любви и одна песнь отчаяния” — это та причина, по которой ты появился на свет, — улыбнулся отец.

Я с удивлением посмотрел на него, а он залился своим обычным смехом.

— Какое отношение ко мне имеет эта книга?

— С ее помощью я убедил твою маму поцеловать меня.

— За первый поцелуй благодари Беккера, дорогой. Это потом ты подключил Неруду.

— Ты уверена?

Мать подошла к отцу, устремив на него взгляд своих бирюзовых глаз.

— Что такое поэзия?* — спросила она игриво.

— Неужели не знаешь? Поэзия — это ты.

Они страстно поцеловались, совершенно забыв обо мне.

* Эта строка и следующая — цитаты из XX стихотворения сборника “Рифмы” испанского поэта-романтика Густаво Адольфо Беккера (1836—1870): “Что такое поэзия?» — ты вопрошаешь, / голубые глаза твои детски чисты. / «Что такое поэзия? Неужели не знаешь? / Поэзия — это ты!»” — Пер. М. Квятковской, цит. по: “Аккордеон, на котором играет ангел”. Беккер, Густаво Адольфо. М.: Центр книги Рудомино, 2021.

— Ты права, милая моя Аурора, — проронил отец, отстранившись на мгновение, — это был Беккер.

— Ладно, ладно. Ясно... — Я хотел, чтобы они прекратили нежничать.

— Поверь, эта книга защитит тебя.

— Защитит? От чего?

— От человеческой глупости.

Отец улыбнулся, глядя на мать. И взъерошил мне волосы, руке его более привычно писать мелом по доске, чем гладить меня.

В это мгновение кто-то постучал в дверь. Судя по тому, как отец с матерью переглянулись, это не предвещало ничего хорошего. Отец встал:

— Кто там?

— Антон, это Матиас. Открой.

Сколько я себя помнил, Матиас то и дело заходил в гости. Я толком не знал, как они познакомились с отцом, но по его внешности и манере выражаться можно было понять, что работает он не в университете. Иногда он приносил мне подарок — как правило, самодельную игрушку. Он был мастер на все руки, и я его любил, хотя мама в последнее время посматривала на него с неудовольствием — вероятно, потому, что он стал заходить намного чаще и задерживаться дольше. Матиас тяжело дышал. Голова у него была перевязана бинтом с большим красным пятном с одной стороны, на уровне уха. Я вздрогнул, увидев кровь.

— Что случилось?

— Чепуха.

— Чепуха? Ты весь в крови. Ну заходи.

— Нет. Некогда.

— Что такое?

— Нам уже пора.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Но ведь... — отец оглядел нас, прежде чем продолжить, — ведь сегодня Рождество.

— Черт, Антон. Думаешь, я не знаю? Я только что оставил жену и девочек у тестя с тещей.

— Вот черт. Но посмотри на себя, Матиас. Тебе нужно...

— Сегодня ночью.

Эти слова, вероятно, значили что-то важное, потому что отец — необычное дело — замолчал.

— Вот черт... Я сейчас.

Он торопливо натянул пальто, взял перчатки, подошел к маме и молча поцеловал ее. В их взглядах было что-то такое, чего я раньше не видел. Все было не так, как когда он прощался, уходя на работу.

Матиас ждал у двери. Кровавое пятно расплывалось и становилось темнее. На лице Матиаса читалось какое-то беспокойство. А может, раскаяние? Стыд? Страх? Боль? Я не знаю. Заметив, что я наблюдаю за ним, он улыбнулся, подмигнул и, наставив на меня палец, как пистолет, сделал вид, будто стреляет. Он всегда так делал, и я всегда смеялся. Но тут я был заморожен ярко-алым пятном. Кровь закапала на пол, самодельная повязка промокла насквозь. Я даже подумал, что, может, у него нет уха. Не заметно было ни выпуклости, ни очертаний.

— Антон, пожалуйста, не уходи так. Что происходит?

Мама говорила шепотом, но я слышал ее четко и ясно. Может быть, даже Матиас разбирал что-то, стоя у двери.

— Лучше тебе не знать, Аурора. Но если я не вернусь...

— Что ты такое говоришь! Почему ты не вернешься? Антон... Антон...

Отец подошел ко мне. Взял книгу Неруды, которая так и лежала на столе, и вручил мне.

— Береги эту книгу, ладно? — улыбнулся он.

— Ты уходишь?

— Нужно кое-что сделать.

— Что именно?

— С Рождеством, сынок. Береги маму...

Когда я открыл рот, чтобы сказать “До свидания”, они с Матиасом уже вышли на улицу.

Никогда я не забуду молчание, воцарившееся в доме, после того как дверь закрылась. Словно стены говорили, что ничего уже не будет так, как прежде. Ничего.

Отец не вернулся ни в ту ночь, ни в две следующие. Мать готова была ждать его вечно, но теперь она вынуждена была позаботиться обо мне. Из окна мы видели, как несколько человек ворвались в дом напротив и вытащили всю семью Серра, включая Ремедиос, мою ровесницу. Такое случалось все чаще. Говоря об этих людях, мать прибегала к аббревиатурам, которые я не мог расшифровать, хотя слышал их уже больше года: НКТ, ПОУМ, ВСТ, ОСПК, ФАИ* и еще другие, которые я не запомнил. Как было их отличить? Да и была ли между ними разница?

Но разговоры — это одно, а видеть такое у себя прямо под окнами — совсем другое. По-видимому, накануне ночью соседи укрыли у себя нескольких священников. Сеньор Серра дал им одежду, чтобы они могли снять свои сутаны и попробовать скрыться. Всех вывели на улицу и расстреляли тут же. У той самой стены, где я играл с мячом.

Думаю, в тот момент я понял, что значит война. Но более всего меня поразило лицо матери. Ее ласковое выражение, мягкая улыбка... они исчезли навсегда. Мать как будто вдруг состарилась у меня на глазах. Уже с некоторых пор ее любезность стала несколько натянутой, а после случая с соседями она даже не пыталась притворяться. Возможно, она

* Национальная конфедерация труда, Объединенная рабочая марксистская партия (ПОУМ — транслитерация испанской аббревиатуры), Всеобщий союз трудящихся, Объединенная социалистическая партия Каталонии, Федерация анархистов Иберии.

поняла, что не сможет спасти меня, просто ограждая от происходящего. А может, поняла, что надо бежать. За несколько минут она собрала немногие имевшиеся у нас ценности, и мы покинули наш дом и нашу жизнь. Я спросил ее, когда мы вернемся, но молчание уже стало ее любимым ответом.

Следующие дни были еще хуже. Аббревиатуры — неотличимые друг от друга — забрали то небольшое, что у нас было. В военное время у каждого была своя правда, и одна не лучше другой. Все прятались за названиями своих организаций, но на деле были просто бандитами с Дикого Запада. Законченные мерзавцы. Они врываются в дома, угрожая оружием, и забирали все что хотели — “именем революции”, разумеется. Мать твердила, что мы не фашисты, но поскольку у нас не было доказательств, это ничего не меняло. “Тогда почему вы убегаете?” — говорили ей. Им было все равно. Оставалось радоваться, что нас не убили.

Спустя неделю недалеко от Манрезы матери пришлось торговаться с какими-то солдатами и отдать им последние деньги, чтобы эти типчики не забрали меня в армию.

— Он еще ребенок, — умоляла мать.

По правде говоря, я был маловат ростом для своего возраста, но если мог держать в руках винтовку, то мой долг был воевать против мятежников*. Какое отношение имела ко мне эта проклятая война? Я даже не понимал ее причины. Хотя иногда чем меньше понимаешь, тем проще повинаться.

Без денег мы не могли купить даже одного билета на поезд, так что шли пешком. Шли долго, много дней, с трудом держась на ногах. Мало кого в то время заботила чужая судьба, но в некоторых людях еще теплилось сочувствие.

* Имеются в виду сторонники Ф. Франко в испанской Гражданской войне (1936—1939).

Мы спали во встречавшихся на пути деревнях, а где-то таким, как мы, все бросившим, позволяли переночевать на складе или в спортивном зале.

В Риполе нас на несколько дней бескорыстно приютила семья фермеров. У них была очень умная собака по кличке Султан. Мне всегда хотелось собаку, но родители не разрешали. То были хорошие дни, я даже нашел лохматого друга и почти забыл царившую вокруг разруху. Проявленная к нам доброта могла бы вселить в меня надежду, но я был так напуган и растерян, что надежда не пустила во мне корни.

Отдохнув неделю у семьи Жунент в Риполе, мы продолжили путь в изгнание. Франция была нашей целью. Оставалось немного, но в соседних деревнях говорили, что в горах идет отчаянная борьба за контроль над границей. Нам пришлось изменить маршрут и покинуть провинцию Жирона, чтобы попытаться счастья в Лейде*. Мы дали огромный крюк, намереваясь пересечь долину Валь-д'Аран, перейти Пиренеи и таким образом оказаться во французских владениях. Это решение стало для меня судьбоносным.

Две недели понадобилось нам, чтобы увидеть Пиренеи прямо перед собой. А если бы не Хустино и его фургончик-развалюха, вышло бы и того больше. Он подобрал нас на дороге. Хустино был священником и ехал в Сулзону, чтобы отслужить заупокойную мессу по погибшим. Но так и не доехал. Через несколько километров нас остановили на эстакаде четверо красных солдат, им было лет по двадцать. На нас с матерью они не обратили внимания, но над беднягой Хустино поглумились от души. Не знаю, что творилось с этими людьми при виде священников. Можно подумать, он попал в шуты к дьяволу, так над ним издевались. Его раздели донага, били, унижали и оскорбляли...

* Испанские варианты названий провинций: Херона, Лерида.